ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАРИ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЇН, ЄДНАЙЦЕСЯ!
BUTUN ÖLKƏLƏRİN PROLETARLAR, BİRLƏŞİNİ! ЗАМҚОЗОНАҚОҒМ ҮЗДӨД ҶОЗУБОНА. ҶОҶАҚОҒОШ! ҒОҒЛԵՏԱՐՆԵՐ ԲՈԼՈՐ ՅԵՐՉՐՆԵՐԻ. ՄԻԱՅԵՔ!
BYTIN JER JUZININ PROLETARLAR, BIRLEŞİN! BUTUN DUNJA PROLETARLARI, BIRLAŞINIZ! PROLETARHOJI HAMAJI MAMĽAKATHO, JAK ŖAVED!
BYKJL ÇER ÇYZJNJN PROLETARLAR, BJRJGJNDER! BARDÛQ ÖLKÖLÖRDYŖ PROLETARLAR, BIRIKKILE!

ГОД ИЗДАНИЯ 24-й

№ 23 (7095)
ПОНЕДЕЛЬНИК

29

ЯНВАРЯ
1940 г.

Цена 10 коп.

ИЗВЕСТИЯ

**СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ
СССР**

Беспокойный писатель

К восьмидесятилетию со дня рождения А. П. Чехова

Незادолго до своей смерти Чехов сказал, что его будут читать еще только семь лет. Трудно нам до конца, всем сердцем понять, почему он думал именно так. Но несомненно одно: исток этой чеховской неуверенности в своем будущем—прежде всего в отношении к Чехов его современников.

В одном неопубликованном письме к Чехову А. А. Суворин, сын издателя, передал Антону Павловичу такой критический отзыв:—Чехов хороший человек, но писать совсем не умеет и едва ли даже к этому способен.

Этот отзыв принадлежал не какому-нибудь профану, а историку литературы, академику. И этот академик говорил не об Антоне Чехонте, газетчике по юмористической части, а об Антоне Чехове, уже писавшем свою «Степу».

Теперь такой отзыв кажется нам нелепым, почти чудовищным. Но ведь на такие отзывы, и не устные, а печатные, Чехов наталкивался до конца своей жизни. Передо мной номер благообразно-либерального журнала «Вестник Европы». В нем напечатано следующее: «Юмор и остроумие не под силу таланта г-на Чехова». Номер помечен 1904 годом—годом смерти Чехова!

И все же совсем не эти критические отзывы внушали Чехову мысль о том, что его произведения будут скоро забыты. Самая грубость и плоскость подобных критических оценок нейтрально-зовали их общественное влияние. Но была другая критика—мягкая и доброжелательная. Она, конечно, оценивала талант Чехова выше таланта Баранцевича или Потапенко, однако, самое искусство Чехова воспринимала в непосредственном окружении третьестепенных беллетристов «Нивы»: те же обычные персонажи, та же обыденная обстановка, нечто как будто бы вполне близкое к натурализму, и притом обы-

вательскому, второсортному. — ведь и натурализму цена бывает разная. Потапенко был только «скромным реалистом», он изображал «близкую» жизнь, Чехов, оставаясь «скромным реалистом», вносил в «близкую» жизнь элемент поэзии, тоже очень скромной.— вот, с точки зрения этой критики, и вся разница, если говорить о руководящих художественных принципах.

Подобная критика, казавшаяся и дружеской, и объективной, имела безусловное влияние на широкий круг читателей и на разнообразные критические высказывания последующих лет. Здесь, может быть, и лежит загадка фразы: меня будут читать только семь лет. И в самом деле, кто теперь читает этих нивских беллетристов?

Но прошло тридцать пять лет со дня смерти Чехова, а имя его становится нам все дороже. Революция, по-новому раскрыв нам творческий облик многих великих художников, особенно глубоко изменила посмертную судьбу Чехова. Миллионы читателей нашей страны ощутили Чехова, как одного из самых нужных и самых близких писателей прошлого.

Теперь уже мало сказать, что творчество Чехова далеко отстояло от писаний «скромных реалистов»,—теперь мы хорошо знаем, что каждой своей строкой Чехов протестовал против этой бескрылой, жванчливой литературы, опрокидывал эту литературу, уничтожал ее.

Нужно сознаться, что некоторые наши современные беллетристы, не умеющие возвысить изображение обыкновенной жизни до большой правды искусства и потому предпочитающие превращать искусство в серую обыденность, имеют в лице Чехова своего непримиримого противника.

Как-то Чехов указал Лазареву-Грузинскому, одному из нивских «скром-

ных реалистов», на серый, обыгательский тон его писаний: побольше сирени, кружев, музыки! Лазарев-Грузинский ответил:

«Благодарю Вас за очень меткий совет о сирени, кружевах, музыке и т. п. Я и сам уже догадывался, что у меня по этой части совсем неблагоприятно и для за три до Вашего письма сделал легкую экскурсию в область женских плеч, кружев и обятий».

И с удивительной наивностью Лазарев-Грузинский обещал в будущем описать «роскошную будничку», утопающую в бриллиантах, цветах и кружевах. «Сам Григорий Мачет, буди увидит только кончик подвязки моей буднички, дохнет от зависти!»). Ничего не понял этот «скромный реалист! Не понял он того, что Чехов говорил не об инвентаре, а об идеях, о поэзии, которая потому и называется поэзией, что она не имеет ничего общего с благодушием. Не понял этого, «скромные реалисты» не поняли самой сути чеховского искусства.

Мещанские писатели были уверены, что, изменив своим героям-обыгателям и обратившись к «роскошным» сюжетам, они перестанут быть мещанскими писателями и превратятся в поэтов большого, «могущего» охвата. Но они превратились,—сперва робея, а потом и отчаясь огоню.—в писателей бульварных. А Чехов, оставаясь верным простой жизненной натуре, создавал произведения, где самые обыденные картины жизни полны тем, чему нет другого названия, кроме слова красота.

Можно без конца удивляться этому искусству Чехова извлекать красоту из любого жизненного сырья. Однако в неизмеримо большей степени следует удивляться

*) Из неопубликованных материалов архива А. П. Чехова.

удивляться тому, как Чехов нигде и никогда не поднимал своего писательского труда чисто эстетическим задачам. Велико искусство Чехова перерабатывать обыденность в красоту, но еще выше его искусство поднимать эту красоту в художественную.

Художественность у Чехова не освобождает места правде, а она и есть эта самая правда, ольной его только и дышит. У многих больших мастеров мы то здесь, то там ощущаем эти уступки в пользу искусства, понимаемого узкоэстетически, уступки писателя в пользу «литератора». Ощущаем мы кое-где эти уступки и у таких во многом близких предшественников Чехова, как Тургенев или Мопассан, но не ощущаем мы их у Чехова. Перерабатывая реальный материал,—а этот материал была деревенско-городская российская жизнь,—в поэтическую ткань своих произведений, Чехов не приукрашал действительности, а только вносил в нее свое незамысловатое искренностью авторское чувство, свое глубокое и правдивое понимание этой действительности. Так пламя свечи, внесенной в комнату, освещает эту комнату, а не «искажает» ее...

Что господствовало в этом авторском чувстве? О Чехове говорили, как об утешителе. Д. Философов в статье «Липовый чай» уверял, что весь Чехов заключен в реплике няньки Марини из «Дяди Ваня»: «Что, батюшка? Больно? У меня у самой ноги гудят, так и гудят... Поyleм, светик... Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею... Богу за тебя помолюсь...»

Как мало было правды в этих утверждениях! Не поил Чехов липовым чаем, не приглашал читателей к самоварнику благодушно поговорить о том, о сем. Об этих утешителях в литературе Чехов писал строки, полные самого неприкрытого презрения. Вот что сказал Чехов о Сенкевиче и его романе «Семья Поланецких»:

«Цель романа: ублажать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен же-

молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт—и твое дело в шляпе и на том и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть верем и в то же время счастливыми».

Но совсем не надо заглядывать непременно в чеховские письма: не в разного рода архивных материалах заправлены руководящие идеи Чехова—художника и гражданина. Они—в строках произведений, всем хорошо известных. Двойной бухгалтерией Чехов не занимался.

Одна из больших заслуг Горького критика заключается в том, что он лучше и много раньше других, задолго до революции, понял истинный смысл работы Чехова и обратил внимание русского общества на этот смысл. В ту эпоху, когда критика характеризовала Чехова, как деликатнейшего брата милосердия, который, несмотря на собственную болезнь, терпеливо сидит у постели занемогшей русской буржуазии,—в эту эпоху Горький называл книги Чехова беспокойными книгами—книгами, которые не дают спать, сеют «огни на мою постель»... И тот же Горький, откликнувшись на новое произведение Чехова — «В врагах», именно в связи с этим, казалось бы, мрачнейшим и суровейшим произведением Чехова отмечал все яснее звучащую в чеховском творчестве «поту бодрости и любви к жизни».

И в этом проявилось подлинное понимание Чехова. Жестко и беспощадно говорил Чехов о темных фактах русской революционной жизни. Никаким иллюзиям Чехов не поддавался. Его нельзя было обмануть внешним покоем, видимостью благополучия—по той простой причине, что он не хотел обманываться. На фешенебельных курортах и на сахалинской каторге, в Москве и в ме-

льковском деревенском углу он всегда оставался верен не только своей честности, но и силе своей ненависти, силе своего отрицания. Но именно эта сила ненависти, сила отрицания и была источником чеховского оптимизма. Она рождала в Чехове мечты, всегда обращенные только к будущему.

Обдумывая повесть о ничьих московских окраинах (в связи с этой повестью Чехов собрался даже поселиться в одном из глухих переулков Москвы), он рисовал себе новые, чудесные кварталы, которые когда-нибудь вырастут на этих местах; работая над «Мужиками», он мечтал о спектаклях «Гамлета», которые когда-нибудь будут разыгрываться на подмостках деревенских театров.

Много писалось о распылчатости чеховского представления о будущем. Это верно. Но в этой распылчатости не было ничего от равнодушия. Огромное уважение к будущему,—а в конечном счете оно рисовалось Чехову революционным будущим,—заставляло его отбрасывать всякие суррогаты идеалов, всякую ложную, дешевой ценой достижимую программу. Все свое творчество он поднимал, в сущности, одной основной задаче: приготовить человека к встрече этого будущего. И в этом неистощаемом стремлении Чехова к тому, чтобы эта встреча оказалась достойной, заключен смысл его великого беспокойства.

В архиве Чехова сохранилась неопубликованная страничка черновых записей. Она содержит строки к некоему литераторе: «он раньше всего любил литературу, которая его не беспокоила—Шекспира, Гомера...»

Люди, для которых Шекспир был писателем не беспокойным, казались Чехову безнадежными. Эти безнадежные люди хотели и Чехова сделать не беспокойным писателем.

Открыв нам всю беспокойность чеховской поэзии, революция поставила Чехова в один ряд с величайшими писателями мировой литературы.

А. РОСКИН.